

АЛЕКСАНДР БРЕНЕР

# ЗАГОВОР ГОЛОВОНОГИХ

МЕССИАНСКИЕ  
РАССКАЗЫ



КНИЖНАЯ  
ПОЛКА  
ВАДИМА  
ЛЕВЕНТАЛЯ

18+

Содержит  
нецензурную  
брань

**Александр Давидович Бренер**  
**Заговор головоногих.**  
**Мессианские рассказы**  
Серия «Книжная полка  
Вадима Левенталья»

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=57281965](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57281965)*

*Заговор головоногих. Мессианские рассказы: Городец-Флюид; Москва;*

*2020*

*ISBN 978-5-907220-46-1*

### **Аннотация**

«Литература – это аппарат, институции, культурная среда, сволочь. Но мы говорим о другом: об одиноком бродячем поэте. Осталось ли ему место на этом свете? Кто знает... Осталось ли ему место в литературе? Неизвестно».

# Содержание

Вместо предисловия	5
Зелёная палочка	8
Роберто Боланьо – это я	14
Курение с Б. Л. и А. П.	29
Похищение куртки Андреаса Баадера из бара Rumbalotte Continua	40
Что осталось от Тимура Зульфикарова	52
Созерцание Нанси	58
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Александр Бренер

## Заговор головоногих.

### Мессианские рассказы

© А. Бренер, 2020

© ИД «Городец-Флюид», 2020

© П. Лосев, оформление, 2020

\* \* \*

*Я вспоминаю одних и тех же людей и одни и те же дела и чувствую, как тревоги сменяются успокоенностью.*

*Леон Богданов*

# Вместо предисловия

В этой книге собраны эпизоды, которые я назову мессианскими.

То есть это такие случаи, когда жизнь – странный брак счастья и несчастья – приносит в мир дитя, что не от мира сего.

Приведу пример-воспоминание.

Однажды в давние времена я ехал в душном и тряском поезде, пересекая огромную безрадостную страну, и мои соседи по купе кричали, пили горькую и ели что-то очень пахучее, а я лежал на верхней полке и изнемогал от шума и одиночества, и вот в самый безысходный и тоскливый момент, когда мне уже хотелось рвать на голове волосы, поезд внезапно встал неизвестно где и стоял неизвестно почему, а я вместе с несколькими пассажирами спрыгнул с подножки вагона на зелёный луг, и увидел вдалеке тёмный лес, и задышал вольным воздухом, и дорожная одурь сошла на нет, и я взгляделся в открывшийся мир и подумал что-то вроде этого: «А почему бы мне не остаться здесь, и не пойти в тот лес, и не найти там избушку на курьих ножках с котом в сапожках, а на избушке будет сидеть жар-птица, а в избушке – чудо-девица?»»

Вот такое ощущение я и называю мессианским, и об этом написал серию рассказиков, собранных здесь под смехотвор-

НЫМ заглавием.

«Заговор головоногих» – что ещё за невидаль?

Возможно, это всего лишь совокупность восхитительных синонимов: бабахнутый, с приветом, со странностями, дикая, завёрнутая, мозги набекрень, с присвистом, тараканы в голове, ненормальный, с причудами, потусторонний, отъехавший, неординарный, ушибленная, с заскоками, сама не своя, неземная, с чудинкой, с закидонами, не дружит с головой, какой-то не такой, чудацкий, казусный, не такая как все, стеганутая, с простинкой, с придурью, чекалдыкнутый, с бзиком, кучерявая...

А может, это неумелое признание в любви к тем писателям, художникам и странным созданиям, о встречах с которыми я на этих страницах рассказываю?

Или, как выразился один автор, это «чудеса, могущие происходить и в самой спокойной обстановке»?

В любом случае: заговор головоногих – не совсем человеческое предприятие, а скорее ослиное, если вспомнить ту длинноухую бестию, на которой странствовал Ходжа Насреддин: она однажды встала посреди дороги и ни за что не хотела сдвинуться, несмотря на все просьбы и поношения хозяина, и в глазах её просияла такая благодать, что Насреддин моментально понял своё собственное предназначение: хитрое и храброе непослушание.

В сущности, заговор головоногих не хочет никаких объяснений, а только своё вечное возвращение и становление.

Приведу третье (после поезда и осла) транспортное сравнение, подсказанное мне дружественным читателем: «Иногда стоишь на остановке в мёрзлых сумерках и ждёшь трамвай, а он всё не идёт и не идёт, и ты уже окончательно расстроился и близок к исступлению... и тут он вдруг из-за угла появляется, весь залитый светом, нездешний, с весёлым дребезжанием, – и это уже не трамвай, а какая-то машина времени, на которой можно ехать то ли в прошлое, то ли в будущее».

Вот это и есть мессианское присутствие.

Тешу себя надеждой, что хотя бы одна моя читательница найдёт в этой книжке такой трамвай и отправится на нём в правильном, то есть ослином, направлении.

# Зелёная палочка

*Давать всплыть воспоминанию во всю ширь, до содрогания.*

*Леон Богданов*

1. Мы сейчас живём на двадцать четвертом этаже в одной из немногих высоток Цюриха.

Здание построено в духе умеренного брутализма – железобетонный пенал в вертикальной позиции.

Здесь обитает разношёрстая публика: пенсионеры, эмигранты, студенты, офисные служащие.

Жильё сдала нам женщина, уехавшая на несколько месяцев в Каир.

Она там снимает какой-то документальный фильм.

Нам очень нравится это временное пристанище: две просторных комнаты и балкон-лоджия.

Обстановка тут минимальная: рабочий стол, диван и журнальный столик с двумя креслами в жилой комнате; кровать и стенной шкаф – в спальне.

В прихожей книжные полки с немецкими книгами.

С балкона открывается вид на полгорода, на непарадную часть Цюриха: прямо под нами троллейбусное депо, далее стройка, стадион, старое здание бойни, железная дорога и бетонный мост автострады, ещё одна стройка с подъёмными

кранами, зелёное поле с частными огородами, ну и так далее.

А по бокам – зелёные холмы, испещрённые домиками.

И над всем небо – огромное, переменчивое.

Когда лежишь на диване, только это небо и видно в широком окне.

Как здорово, оказывается, на такой верхотуре жить!

Беспокоит одно: приедет хозяйка и выставит нас на улицу.

Это может случиться через неделю, месяц или два.

2. Когда мы вселились сюда, я целыми днями сибаритствовал.

Ничего не делал – даже не мечтал, не вспоминал.

Просто бездумно полёживал.

Лентяя праздновал.

Раньше я пугался таких эпизодов праздности.

А сейчас им радуюсь.

Хорошо забыть обо всём, что было и есть.

3. Вот так я и валялся на диване утром, когда в дверь раздался звонок.

Я был один – Варвара ушла за хлебом в магазин.

Я, разумеется, никого не ждал и немножко струхнул.

Вдруг это какое-то домоуправление или, не дай бог, полиция?

Я живу без документов, без всякого вида на жительство.

Поэтому вместо того чтоб открыть дверь, я замер, чтоб не

произвести и шороха.

Но звонок повторился: тигли-бом.

И почему-то я решил открыть – сам не знаю почему.

4. На пороге стояло существо – небольшого роста, тоненькое, в пиджаке и штанах.

Но лицо существа не было человеческим, а скорее звериным и каким-то нарисованным: острая мордочка с длинной красной линией рта, пуговкой-носом и двумя большими круглыми глазами, глядящими мимо меня.

Эти глаза с длинными девичьими ресницами казались одновременно наивными и много повидавшими – странное впечатление.

Кожа существа была сплошь покрыта веснушками.

На голове – копна рыжих спутанных волос.

Я не мог понять: парень это или девушка.

На вид ей было лет двадцать пять.

Тут пришелец заговорил по-английски тихим сладким голосом:

– Извините меня, пожалуйста, за внезапное вторжение, но я проходила мимо вашего дома и вдруг почувствовала неотвратимое желание подняться наверх и посмотреть на окрестности. Знаете, иногда у меня возникает такое ощущение, что мне обязательно нужно увидеть мир с высоты. Поэтому я осмелюсь попросить вас об одолжении: могу я выйти на ваш балкон и оглядеться вокруг?

Закончив эту речь, существо улыбнулось – нежно и доверчиво.

Я был тронут просьбой и сказал:

– Конечно, заходите, прошу.

– Спасибо, – прошептало существо бархатным голосом.

В прихожей оно огляделось:

– У вас хорошо.

В этот момент я заметил, что гость держит в руке какой-то предмет.

Это была палочка – вроде тех, которыми едят в китайских ресторанах, только подлинней.

Этакая зелёная палочка, как будто её натёрли травой.

О, какие длинные, бледные, острые пальцы держали эту палочку!

Существо уловило мой взгляд и промолвило:

– Это мой талисман, я всегда ношу его с собой. Это моя волшебная палочка. Но если вы хотите, то можете подержать её, а я пока выйду на балкон.

Мы уже стояли перед открытой балконной дверью, и нас обдувал ветерок.

– Может, вы хотите чего-нибудь? Яблоко или стакан воды? – спросил я.

– Нет-нет, – поспешило отказаться существо. – Благодарю вас. Я хочу на балкон.

С этими словами оно протянуло мне палочку, и я её взял.

На ощупь палочка была шероховатая.

Существо проскользнуло на балкон.

– Спасибо большое, – сказала оно.

Чтобы не смущать гостя, я тут же ушёл в спальную комнату.

Там я провёл, наверное, минут пять, разглядывая зелёную палочку.

Потом вернулся назад.

Моего гостя нигде не было.

Я подошёл к балконной двери и посмотрел.

Никого.

Я вышел на балкон.

Вокруг только небо – высокое, безоблачное.

И тут я схватился за перила и поглядел вниз – с нашего неопишимо высокого двадцать четвертого этажа.

Ох!

Там, на земле, виднелся газон с зелёной травой, и на нём что-то лежало – совсем маленькое.

Крошечная фигурка, словно муравей или кузнечик, только человеческий.

А рядом с фигуркой уже суетились махонькие людишки: размахивали руками, приседали, что-то кричали, бегали.

Тут-то до меня и дошло: лежащий кузнечик – мой веснушчатый гость, сломанный.

Ах, как мне стало не по себе!

Ой!

6. Вернулась с хлебом Варвара – бледная, взбудораженная.

– Кто-то упал или прыгнул с балкона, – сказала она. – Внизу лежит.

Я сидел на диване и смотрел на зелёную палочку.

Я положил её рядом с собой, но почему-то не смел к ней притронуться.

Существо сказало: палочка волшебная.

Но я не мог вспомнить: как воспользоваться волшебной палочкой?

# Роберто Боланьо – это я

*Но идентификация – это когда кажущееся чем-то этим и оказывается, а при этом казавшаяся базовой и фундаментальной «реальность» оказывается фиктивной, фикцией.*

*Леон Богданов*

1. Есть один писатель, которому я страшно завидую.

Впрочем, я завидую многим писателям.

Например, Сэмюэлю Беккету, – я завидую не только его несравненным произведениям, но и его атлетическому телосложению (когда-то в Париже в книжном магазине я видел фото Беккета с обнажённым торсом и чуть не умер от зависти).

Ещё я завидую Пушкину, потому что его можно читать в любом возрасте и в любом настроении, и он всегда возвращает тебя в исконный возраст и в искомое настроение.

Ещё я завидую Фолкнеру – ведь у него была его Йокнапатофа, в которой он мог делать всё что ему необходимо.

Настоящий писатель делает только то, что необходимо, а вовсе не всё, что пожелает.

Также я завидую Шахерезаде с её сказками и ещё Шарлю Перро, братьям Гримм, А. Н. Афанасьеву, Карло Коллоди, Хансу Кристиану Андерсену, Вильгельму Гауфу и вообще всем сказочникам, потому что считаю сказку наивысшим

словесным жанром, но больше всего я завидую анонимным народным сказочникам, ибо они не нуждались ни в публикациях, ни в бумаге, ни в ручке, а только в чьём-нибудь доброжелательном ухе, готовом услаждаться их потешными и страшными историями.

Честно говоря, я завидую всем писателям, которые не забываются о публикации своих опусов.

И, конечно, я завидую Юрию Олеше: завидую его повести «Зависть», написанной им в молодости, после чего он уже ничего не мог написать, потому что оказался беззащитен перед всё более наглежащей властью, которая зажала его, как и всех остальных писателей, в своём удушающем кулаке, хотя Олеша всё же изловчился, на минутку высвободился и написал сказку «Три толстяка», которая очень мне нравилась в детстве, а потом снова ничего не писал, а просто сидел и пил водку в ресторане гостиницы «Метрополь» и отпускал язвительные замечания в адрес других писателей, но в то же время писал свою книгу «Ни дня без строчки», – вернее, не книгу, а гнигу: что-то вроде дневника, вроде воспоминаний, наблюдений и размышлений, ведь он прекрасно понимал, что никакая книга уже невозможна, что время книги прошло и наступило время жизни и смерти.

Если вдуматься, я завидую всем мёртвым – писателям и не-писателям.

2. Но Роберто Боланьо, о котором пойдёт речь ниже, я за-

видую несколько иначе, чем Пушкину, Фолкнеру или Беккету, иначе, чем всем превосходным поэтам и сказочникам, которым я ежедневно, ежечасно, ежеминутно завидую.

Так как же я ему завидую?

А вот: я завидую Боляньо как самому себе, потому что иногда мне кажется, что Боляньо – это я.

Да, именно я, только родившийся не в советской Алма-Ате, а в Сантьяго – столице Чили, и сбежавший не от советского строя, а от генерала Пиночета, и проведший всю жизнь в скитаниях, как настоящий бездомный писатель, образ которого я лелею в своём воображении.

Да, великий бездомный писатель Боляньо – это я, вот какая чушь приходит мне в голову!

Но эта мысль – что я на самом деле Боляньо, а вовсе никакой не Бренер – эта странная идея является совершенно обычным моим умопомрачением, привычным бредом и томлением.

Я знаю, что загубил в себе какие-то прекрасные возможности, а вот Боляньо – нет (так мне хочется надеяться), и поэтому я влачусь за тенью этого блестящего писателя как его зывающая и завывающая тень.

В одном из своих рассказов Боляньо описывает, как он бродит с датской девушкой по готическому кварталу Барселоны, и его спутница велит ему присмотреться к теням, которые отбрасывают их фигуры.

Боляньо замечает эти тени, упавшие на древние стены,

и тут датчанка говорит, что у теней есть особая, отдельная жизнь, хотя мало кто это понимает.

Боланьо приглядывается к своей тени, и ему кажется, что тёмный вытянутый силуэт искоса смотрит на него и шевелит губами.

Боланьо поражён, а затем они вчетвером – Боланьо, девушка и их тени – растворяются в бесформенном мраке.

Когда я прочитал этот отрывок, то сразу понял: тень, косящаяся на Боланьо, тень, которую он в конце концов заметил и присутствие которой его поразило, эта тень – я, я, Александр Бренер.

Я и есть его тень, то возникающая, то исчезающая – в зависимости от Луны или Солнца.

Как писал Константин Вагинов:

Прохожий обернулся и качнулся  
Над ухом слышит он далёкий шум дубрав  
И моря плеск и рокот струнной славы  
Вдыхает запах слив и трав.  
«Почудилось, наверное, почудилось!  
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»  
Я в капоре иду мои седые кудри  
Белей зари и холодней чем снег.

3. Тень – это тень чего-то иного, возникшего на миг и исчезнувшего.

Боланьо был бездомным писателем, который то возникал,

то исчезал там и сям — как тень, а не как заслуженный деятель культуры.

Я говорю, разумеется, не только о его физических скитаниях, хотя и о них тоже: о странствиях вечного беженца и эмигранта, всплывавшего то в Мексике, то в Чили, то в Эль-Сальвадоре, то в Испании, то в Нидерландах, то в Рио-де-Жанейро, то в парижском отеле на улице Сен-Жак, то в бельгийском местечке Мануи-Сен-Жан, то в Швейцарии на озере Лаго-Маджоре...

Я говорю ещё и о политическом бродяжничестве Боланьо, который успел побывать троцкистом, сторонником правительства Сальвадора Альенде, одиноким писателем, наблюдателем краха Латинской Америки и Европы, аналитиком писательского ничтожества, мечтателем, коммунистом...

Я говорю ещё и о скитальческом писательском методе Боланьо, который с величайшим умением использовал всевозможные литературные жанры: детективную историю, книжную рецензию, авантюрную новеллу, древнюю притчу, авангардистский опус, приключенческий роман, журналистский репортаж, стихотворение, путевые заметки, философское эссе, записанный сон, анекдот, очерк.

Я имею в виду и духовные блуждания Боланьо, которые никогда не кончались и заносили его то в Лос-Анджелес к чешуекрылым ангелам гнева, то в африканскую деревню, опустошённую этнической чисткой, где он читал биографии французских поэтов и смотрел на красную землю.

Как говорит сам Боланьо: «Написанное слово своим острым рогом пропарывает путь сквозь сон, и вот ты уже шагаешь по новой тропке. По зыбкой тропке. Всегда неприятной. Она ведёт напрямиком в ад, а может, и выводит из ада. К чему, собственно, всё всегда и сводится. Ты либо торишь дорожку в преисподнюю, либо удаляешься от неё».

Неприятное слово – вот что стало уделом Боланьо, его домом, его чужбиной.

А у меня, его тени, слова застревают в глотке.

Зато жизнь моя как у самой настоящей боланьевской тени: тоже бездомный, тоже мыкавшийся из страны в страну, из города в город, нигде не находивший себе места, а теперь вот осевший без паспорта и без квартиры в несусветно дорогой хай-тек-деревушке со столичным населением – в адском садике под названием Цюрих.

А Боланьо осел в приморском местечке недалеко от Барселоны – в городке Бланес, что славится своим пляжем и где с лёгкой руки Боланьо был убит самый отпетый авангардист-фашист Латинской Америки – Карлос Видер.

Но и обосновавшись в Бланесе, Боланьо продолжал шататься в своих книгах – и куда его только не заносило.

Он сказал про себя: «Моя единственная родина – жена и двое моих детей, а ещё, возможно, несколько улиц, лиц, книг и мгновений, которые всегда со мною».

А моя единственная родина – Варвара.

Ну а литература?

Про неё Боланьо в своём последнем интервью, данном журналу Playboy, умолчал – только «жена и дети».

«Литература» – это что-то ужасно чужое: не тот кусок земли, на котором стоишь подгибающимися ногами.

Вот опять Боланьо: «Всё на этой кухне было фальшивым. Ни настоящих тарелок, ни настоящих приборов, ни настоящих кастрюль. Таково кино, сказал автор порнографических фильмов Хельмут Биттрих, глядя на меня голубыми глазами, которые тогда пугали меня, а теперь вызывают разве что жалость».

Литература – фальшивка, а все писатели, согласно Боланьо, – болтливые шлюхи.

А некоторые – шлюхи-убийцы.

И уж совсем немногие – невинные шлюхи.

Как сказал Никанор Парра (любимый поэт Боланьо): родители поэта должны быть убиты, он – сирота от рождения.

Чумой пристало к шлюхам-сироткам их ремесло-блядка.

Боланьо хорошо знал, как делается словесное искусство.

Он был поэтом, который писал прозу, чтобы заработать денег и прокормить себя и своих близких.

Но он не продавал то, во что верил.

Ох, как же я обрадовался, когда прочитал у Боланьо такие строки: «Литература была для меня обширным минным полем, где можно наткнуться только на врагов, если не считать кое-кого из классиков (далеко не всех), и мне приходилось ежедневно прогуливаться по этому минному полю, опираясь

разве что на стихи Архилоха, и один неверный шаг мог закончиться очень плохо».

И дальше: «Случаются мгновения, когда тебе не на что опереться, нет друзей и уж тем более учителей, нет никого, кто протянул бы тебе руку, когда издательства, премии, стипендии – это для других, для тех, кто раз за разом повторяют „да, сеньор“, или для тех, кто поёт хвалы литературным генералам, коих вокруг тьма тьмущая и их единственное примечательное свойство – полицейский взгляд на жизнь, от них ничего не ускользнёт, они ничего не прощают».

Когда я прочитал эти строки, то прямо-таки вздрогнул: каждое слово здесь моё, каждая запятая моя, всё родное, вплоть до упоминания Архилоха.

Вот это-то презрение к литературе и объединяет нас – поэта Боланьо и его тень, Бренера Сашку.

4. Недавно я прочитал «Чилийский ноктюрн» – могучую повесть Боланьо.

Это очень страшная книга, как некоторые сказки.

В «Чилийском ноктюрне» речь идёт о том, как делается литература.

Время действия – дни после переворота Пиночета.

Социалистическое правительство Сальвадора Альенде пало.

Сам Альенде убит в президентском дворце Ла Монеда.

Множество людей арестовано и брошено в тюрьмы.

Но жизнь, как водится, продолжается.

В предместье Сантьяго стоит в саду особняк – хороший, защищённый от чужих взглядов.

Там живёт американец Джимми Томпсон и его чилийская жена Мария Каналес – молодая писательница, работающая над своим первым романом.

У них два очаровательных ребёнка.

Мария Каналес держит в доме литературный салон, в котором, несмотря на комендантский час, собираются писатели, музыканты, критики, люди искусства.

Они хорошо проводят время: слушают пластинки, пьют виски, закусывают, курят, говорят об искусстве.

Но вот однажды один из гостей сильно напился, пошёл в туалет и заблудился в громадном доме.

В конце концов он оказался в подвале.

Там была какая-то дверь, которую он толкнул и попал в темноту, пропитанную чем-то опасным.

Пьяный гость (теоретик авангардистского театра) нащупал выключатель: вспыхнула электрическая лампа.

Там на металлическом топчане лежал голый человек, привязанный за кисти и лодыжки.

Лицо его было закрыто повязкой, но слышалось дыхание.

Возможно, этот несчастный, прикрученный к койке, лечил сном свою боль, свои чудовищные страдания.

На теле виднелись раны: загноившиеся язвы и рубцы со странными пятнами, как бывает при переломах.

Взглянув на распростёртого человека, теоретик авангарда обомлел, а потом выскользнул из комнаты, прикрыв дверь снаружи.

И двинулся в обратный путь, причём хмель его словно ветром сдуло.

Вернувшись в гостиную на литературный праздник, он налил себе виски и не обмолвился об увиденном ни словом.

Но вскоре поползли слухи.

И выяснилось, что Джимми Томпсон – хозяин особняка – был одним из ведущих агентов ДИНА (служба безопасности при хунте) и использовал свой дом как центр допросов и истязаний.

«Вот как делалась литература в Чили», – говорит Мария Каналес, хозяйка литературного салона в доме пыток.

И Боланьо пишет: «Так делается литература в Чили, но не только в Чили – в Аргентине и Мексике, в Гватемале и Уругвае, в Испании, Франции, Германии, в зелёной Англии и весёлой Италии. Так делается литература. Или то, что мы, чтобы нас не выбросили на свалку, называем литературой».

Ужас?

Ужас!

Рядом со светлой комнатой любого писателя, сочиняющего книгу, – темница, где истязают несчастных.

Да и сама писательская комната ничем не лучше.

Какой писатель выдал из себя холопа?

Какой писатель не шёл на постыдные сделки?

Какой писатель ради публикации книги не лизал чью-то жопу?

Литераторам пристало захлёбываться в дерьме ежедневно.

Страшно?

Гнусно!

Но ведь мы говорим о поэте – о Роберто Боланьо.

Литература – это аппарат, институции, культурная среда, сволочь.

Но мы говорим о другом: об одиноком бродячем поэте.

Осталось ли ему место на этом свете?

Кто знает...

Осталось ли ему место в литературе?

Неизвестно.

В «Чилийском ноктюрне» появляется тень – именно тень, а не персонаж, не действующее лицо, не характер.

Тень, как я – тень Роберто Боланьо.

Это некий «поседевший юнец», взявшийся ниоткуда.

Он возникает из пустоты, из словесного хлама, как чёртик.

Он приходит на культурные посиделки, на собрания, чтения, вечеринки.

Там он орёт, ругается, размахивает руками.

И исчезает.

Он возникает в повести несколько раз – непредсказуемо, неуместно.

Именно так: появится, закричит и исчезнет.

На кого он кричит?

На героев повести, а заодно и на всех писателей, критиков, на всех людей с даром речи.

Он не даёт им жить в мире, в согласии, в благолепии, в покое.

Он кричит что-то неразборчивое, какие-то оскорбления, слова ярости и раздора.

Он кричит, что все они – люди культуры – трусы, фарисеи, ничтожества, суки.

Что-то смехотворное кричит, что-то инфантильное, неразумное и злое.

Поседевший юнец кричит как сумасшедший, а потом смолкает.

Да кто он вообще такой, этот поседевший засранец?

Никто: просто нахал, самозванец.

Он не принадлежит ни к какой группе, ни к какой партии, ни к какой клике.

Он просто негодник, осквернитель священного алтаря, охальник.

Иногда он вопит что-то совсем несуразное, вроде: «Иезуиты!», «Бездарные хуесосы!».

Этот юнец – заноза в зад, помеха, обидная мелочь.

Он покричит, похамит, а потом исчезнет.

И опять станет славно и мирно, воцарится покой и полицейский порядок.

Этот юнец – просто тень, набежавшая на солнце культуры.  
Секунда – и тень испарится.

Но вот что говорит протагонист книги (тоже литератор, но уже в предсмертном бреду, в лихорадке, на смертном одре, в чаду и озарении последних видений):

«Есть ли какой-нибудь выход? Так делается литература в Чили, так делается великая литература всего мира. „Вбей себе это в голову“, – твержу я ему. Но поседевший юнец, то, что от него осталось, шевелит губами, произнося еле слышное „нет“. Я силой своего ума его останавливаю. Или это делает госпожа история? Что может одиночка по сравнению с госпожой историей? Тот поседевший юнец всегда был одиночкой, а я всегда уважал историю. Я опираюсь на локоть и ищу его глазами. Вижу только мои книги, стены спальни, оконный свет в полумраке... Есть ли какой-нибудь выход? Временами земля дрожит. Эпицентр землетрясения находится на севере или юге, но я просто слышу, что земля дрожит. Иногда меня качает... Есть ли какой-нибудь выход? Я вижу людей, бегущих по улицам. Вижу, как они входят в метро и кинотеатры. Вижу, как покупают газеты. А иногда земля дрожит, и всё замирает на какие-то мгновенья. И тогда я спрашиваю: где тот поседевший юнец? Почему он ушёл? И правда понемногу начинает всплывать, как утопленник. Мёртвое тело, которое всплывает со дна моря или глубокого оврага. Вижу тень его растущую. Тень дрожащую. Тень, которая поднимается по холму какой-то окаменелой планеты.

И тогда, в затмении моей болезни, я различаю его лицо, красивое лицо, и спрашиваю себя: не я ли тот самый поседевший юнец? Был ли на самом деле этот великий террор, был ли я тем поседевшим юнцом, который кричит, а его никто не слышит? И что было бы, если бы бедным поседевшим юнцом был я? И тогда с головокружительным ритмом сменяются передо мной лица тех, кого я видел, кого любил, кого ненавидел, кому завидовал, кого презирал. Лица тех, кого берёг, на кого нападал, от кого защищался, кого напрасно искал.

А потом вдруг как хлынет поток дерьма, и ничего не останется».

5. Когда я это прочёл, у меня волосы на теле зашевелились.

Всё встало на свои места, мои глаза открылись.

Эта тень – тень поседевшего юнца – вмиг всё прояснила.

В этой тени мы с Роберто Боланьо совпали.

Между нами не осталось никаких различий.

Мы слились в одну эту тень – тень поседевшего юнца, говорящего из последних сил «нет» в ответ на доводы истории и рассудка.

Мы стали одним – не Роберто Боланьо и не Бренером Сашкой, – а этим юнцом, вставшим против грандиозного потока дерьма, называемого «историей», «культурой», «литературой», «искусством».

Седая тень, говорящая «нет» – ради какого-то «да», кото-

рое и формулировать-то не надо.

Просто «нет», а потом – тишина, землетрясение, молчание.

# Курение с Б. Л. и А. П.

*В комнате тепло и накурено, а за окном  
западный ветер.*

*Леон Богданов*

1. Мне было лет десять, когда я попросил курящего друга отца дать мне затянуться.

Он дал, я пыхнул – и свалился со стула.

2. Немного позже девчонки в парке Горького заманили меня выкурить с ними сигарету.

После трёх затяжек меня стошнило, а они смеялись. И вот, помню, эти девчонки в юбчонках ведут меня куда-то под руки среди деревьев.

А куда и что было потом, не помню.

3. Курить я так и не научился.

Но всё равно курил, когда был с людьми, которыми восхищался.

Я одуревал от их общества, как от никотина.

Самым главным был, конечно, Борис Лучанский.

Я уже писал о нём в «Житиях убиенных художников», но этого мало.

Под знаком Бориса прошла моя незрелость – и до сих пор

проходит.

Он появляется во сне, и мы опять курим.

Я снова глотаю дым, давно улетевший в космос.

И опять мне становится дурно: я задыхаюсь от табачного облака, проникшего в лёгкие, задыхаюсь от блаженства быть с Борисом и от тоски, что он мне всего лишь снится.

Мгновение спустя я просыпаюсь, и сердце ноет.

4. Попытаюсь дать его словесный портрет, а уж оживёт ли он, задышит, пойдёт навстречу, позволит к себе прикоснуться, – не знаю.

То, что осталось от реального Бориса, лежит в Израиле, в городе Цфате, где живёт его вдова и где он умер от запущенной язвы желудка.

Там его рисунки, его кисти, его кости и, возможно, ещё что-то...

Но кое-что хранится и в моей черепной коробке.

5. Я уже говорил в другом месте, что Борис Лучанский был моим учителем, равви.

Каждое исходящее из его уст слово воспринималось мной как истина и как побуждение к поступку.

Учителя учат жить, а иначе они доценты.

Стоило Борису сказать: «Мне не в чем выйти из дома в эту дурную погоду», и я на следующий же день выносил из родительского дома старую, но раритетную куртку (её подарил

отцу один канадец) и приносил Борису (а отец потом искал эту куртку и, не найдя, сокрушался).

Так я перетаскал Борису отборные вещи: сумки, рубашки, трусы, консервы, складной нож с головой тигра, книги...

Дело в том, что Борис был нищим.

6. Художник Лучанский жил в советской Алма-Ате в самой одичалой трущобе.

У него не было телефона.

У него не было водопровода: за водой нужно было ходить с ведром на соседнюю улицу – к колонке.

У него не было ни телевизора, ни радио, ни холодильника, ни магнитофона.

У него не было запасной смены белья, зато он купил щегольские ботинки.

У него было среднее неоконченное образование.

Он не знал ни одного иностранного языка, но обожал смотреть на санскритские, ивритские, греческие и эфиопские буквы, а также на японские и китайские иероглифы, как и на арабскую вязь, которая содержалась в Коране, напечатанном в начале XX века в Ашхабаде.

Он ходил без носков – не потому что это было модно, а потому что носки истлели.

Когда улицы Алма-Аты вымирали и население припадало к голубым экранам, чтобы насладиться очередной серией «Семнадцати мгновений весны», Борис сидел в камышовом

бараке в Малой Станице и пускал голубые облака едкого дыма, передавая мне приплюснутую папиросу.

Когда у меня появлялись деньги (я их воровал у отца), мы курили болгарские сигареты с фильтром.

Ну и пили, конечно, – водку, бормотуху, технический спирт, пиво.

7. Что это значит: курить?

В фольклорном смысле это значит впускать в себя чёрта или блудницу.

В религиозно-философском смысле курить означает окружать себя облаком нирваны.

Ну а в артистическом смысле, перефразируя Поля Валери, можно сказать, что курение позволяет увидеть вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели неандертальцы.

Если соединить три эти значения, получится наше с Борисом сидение в камышовом бараке на пропитанном ядовитыми химикалиями бугре в Малой Станице.

Я уже писал о Малой Станице, но скажу ещё два слова: все дома в этом алма-атинском предместье походили на упавшие с неба и покорёженные от удара скворечники, облепленные птичьим помётом.

В этих скворечниках жили взъерошенные птицы с перебитыми крыльями и когтистыми лапами и их крикливые, рваные, сопливые дети.

В Борисовом бараке на полу лежала истоптанная коричневая кошма с белым тюркским узором – единственная ценность в доме, если не считать ломберного столика, покрытого зелёным сукном с многочисленными дырами – следами папиросных ожогов.

На самодельной полке стояли любимые книги – «Слова» Сартра, «Записки от скуки» Кэнко-хоси, Лукиан из Самосаты, Проспер Мериме, двухтомник Акутагавы и последний том из бунинского собрания сочинений, содержащий в себе трактат «Освобождение Толстого».

На стене висела маленькая тёмная темпера Михаила Шварцмана с изображением совы, глядящей как Спаситель на старинной иконе.

Мы сидели, курили, окружали себя клубами вонючего дыма, в котором зарождалась иная явь: ачинтья-бхеда-абхеда.

Меня в этой ачинтье порядочно тошнило и качало.

8. Борис, как всегда, говорил, а я слушал.

Я вечно молчал в присутствии Бориса – мычал, кивал, улыбался, соглашался.

Я благоговел перед его вдохновенными, нетрезвыми, разрушительными словами.

Борис был художником не рисующим, а говорящим.

Его изобразительная продукция казалась мне восхитительной, даже гениальной, но в количественном отношении она была ничтожна.

Карандашные наброски, маленькие рисунки пером, дюжина офортов – вот и всё, а в промежутках – речи, речи.

Он был болтуном, сказителем, рапсодем.

9. В тот незабываемый вечер, незаметно перешедший в глухую ночь с дальним собачьим лаем, Борис говорил о Пушкине.

Голая лампочка висела над нами, освещая убогую обстановку.

Облако табачного дыма занавешивало свет лампы.

Пушкин был богом Бориса.

Он понимал, что пушкинские стихи запечатлели новозаветный момент в истории русской словесности, когда она открылась мессианским путям, благодатям, ересям и блажи.

Литература отворилась как дверь, ведущая в парадиз, в Эльдorado.

Пушкин – эта самая дверь и есть.

Борис знал это, как другой горький пьяница, – Аполлон Григорьев.

Я в своей жизни столкнулся с разными чурбанами, прибивавшими Пушкина.

Среди них были писатель Эдуард Лимонов, художник Анатолий Осмоловский, поэт Дмитрий Пименов, сказавший мне, что Пушкин не поэт, а переводчик.

А вот Борис Лучанский из Малой Станицы не сомневался: Пушкин – самый гениальный из русских славословов.

И не просто гениальный, а, как сказал Достоевский, он наш Мессия: «пришёл ускорить времена и сроки».

10. Пьяный Борис затягивался дымом, выпускал его через нос и читал любезное сердцу:

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел. Пред ним широко  
Река неслася; бедный чёлн  
По ней стремился одиноко.  
По мшистым, топким берегам  
Чернели избы здесь и там,  
Приют убогого чухонца;  
И лес, неведомый лучам  
В тумане спрятанного солнца,  
Кругом шумел...

Чёрт подери, какая правда!

Мы сами были в «бедном челне», среди «чёрных изб» Малой Станицы, в «неведомом лучам» табачном тумане.

Мы сидели в «приюте убогого чухонца».

Мы находились на краю мира, в глухом углу империи, где было холодно и дико.

Всё как в пушкинских строках!

Поэтому-то нас и трясло как в лихорадке.

А Борис читал дальше:

...Отсель грозить мы будем шведу,  
Здесь будет город заложен  
На зло надменному соседу.  
Природой здесь нам суждено  
В Европу прорубить окно,  
Ногою твёрдой стать при море.  
Сюда по новым им волнам  
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе.

В этих стихах слышалось обещание иного: дерзания, прорыва в большой мир, цветения чужеземных флагов, – избавление слышалось.

В этих стихах была не тупая поступь государства, а обетование простора.

Мы с Борисом Лучанским пили ядовитый алкоголь и курили грубый табак именно ради этого: отпущения на волю.

11. А он, пьяный в дым, опять читал на память:

Люблю тебя, Петра творенье,  
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное течение,  
Береговой её гранит,  
Твоих оград узор чугунный,  
Твоих задумчивых ночей  
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей  
Пишу, читаю без лампы,  
И ясны спящие громады  
Пустынных улиц, и светла  
Адмиралтейская игла...

И вот, когда он это читал, закутанный в синее облако, случилось нечто необыкновенное.

Чудо – вот что произошло.

Оно длилось всего минуту, а может, и короче, но было божественно.

12. Итак: вместо Бориса Лучанского из табачного тумана выплыл Александр Сергеевич Пушкин – поэтический гений, неугасимая лампада и огненный столп, дуэлянт и любовник, смутьян и аристократ.

Да, это был он – маленький, темноликий, с чёрными блестящими локонами, странными чертами лица и сияющими глазами то ли пророка, то ли отрока.

Только это был нищий Пушкин, совершенно обездоленный, родившийся в семье бедного еврея Зямы Иосифовича Лучанского.

Он учился в средней советской школе, потом в алма-атинском Художественном училище, но был оттуда изгнан.

Потом он жил со своей мамой в бараке, читал чудные книги, рисовал на бумаге акварельными красками и тушью, слонялся по геологическим экспедициям в качестве разнорабо-

чего, служил сторожем в пожарном депо, опять рисовал на клочках ватмана, мечтал о мировой славе, влюблялся, пил, курил, родил дочь, совокуплялся под забором, нищенствовал, изрыгал проклятья...

Он уже не был величайшей звездой русской поэзии, чей памятник стоял в Москве на Страстной площади, но превратился в окончательно обалдевшего и ожесточённого, изголодавшегося и оказавшегося без всяких средств к существованию А. С. Пушкина, заброшенного беспощадной судьбой в яблочную Алма-Ату – на её самую ублюдочную, гнилую окраину.

Слово даю, я был свидетелем этого богоявления Пушкина – его возникновения из дымного облака в тёмную зимнюю ночь в Малой Станице в ранние годы брежневского правления.

Никогда мне этого не забыть...

13. А потом случилось катастрофическое.

Было уже, оказывается, три часа ночи, когда я увидел Пушкина.

Я сидел перед ним – ошалевший, упившийся и накурившийся, утопая в табачном мареве и благоговении.

И тут в дверь камышового барака кто-то громко постучал: – Бам-бам!

У меня душа в пятки ушла.

В следующее мгновение дверь распахнулась, будто её ве-

тер с петель сорвал.

И вошёл мой отец – бледный, кипящий, рассерженный.

Он приехал забрать меня, нерадивого старшеклассника.

Он узнал адрес Лучанского в милиции (у отца был знакомый юрист, читавший лекции в милицейской академии).

Он схватил меня за руку и потащил на промозглую, дремучую, провонявшую углём улицу, где его ждало такси, и, шепча слова родительского негодования, втолкнул в машину и увёз прочь с первобытной окраины.

А я, дурак, даже не успел пожать руку Пушкина на прощание.

Даже не успел выразить ему свою благодарность и ликование.

Именно поэтому я – вечно терпящий неудачу мелкий бес, болтливый бездельник, плагиатор и оборкот.

# Похищение куртки Андреаса Баадера из бара Rumbalotte Continua

*У нас об этом не говорят, но в Аргентине  
находят всё новые тайные захоронения лиц, не  
поддающихся идентификации.*

*Леон Богданов*

1. Rumbalotte Continua – был такой писательский бар в Берлине, в районе Пренцлауэр-Берг, на тихой улице Metzger Strasse.

Просуществовала эта Румбалотта лет пять, с переменным успехом, а потом протухла и сгнула.

Заправлял Румбалоттой Берт Папенфюз – известный поэт, чьи стихи можно найти в любой антологии современной немецкой поэзии.

А Папенфюзом заправляла Марайле – блондинка с комплекцией валькирии и характером Фридриха Прусского, которая почему-то невзлюбила нас с Барбарой (как, впрочем, и большинство людей – мы мало кому нравимся).

Но речь здесь не о нас, а о Папенфюзе и его баре Румбалотта Континуа.

Этот Папенфюз – личность весьма разносторонняя: поэт, содержатель бара, анархист, редактор журналов Sklaven

и Abwärts! великий пропагандист Егора Летова и группы «Гражданская оборона», организатор литературных и музыкальных мероприятий для левых из Восточного Берлина, культуртрегер, координатор и покоритель усохших сердец.

Папенфюз происходил из ГДР, из берлинского культурного андеграунда, и имел репутацию вечного оппозиционера и поборника всего революционного, непризнанного, гонимого.

В юности он косил под панка, считался надеждой немецкой поэзии и поэтому мог почти беспрепятственно перемещаться из ГДР в ФРГ и читать там свои стихи, то есть занимал довольно-таки привилегированную позицию, хотя до Хайнера Мюллера ему было далеко.

Я познакомился с Папенфюзом давным-давно – году примерно в 1992-м, когда впервые попал в Берлин.

В тот приезд я принимал участие в поэтическом чтении, организованном московскими и берлинскими стихославателями.

В российской группе были Пригов, Рубинштейн и кое-кто ещё, но я помню только этих двух и, кажется, Кибирова.

А из немецкой команды в памяти остался лишь Папенфюз, а остальные выветрились.

Российские поэты велели мне первым читать стишки.

Такое решение было принято ими неспроста: они опасались, что я учиню какой-нибудь скандал, и хотели от меня поскорее отделаться, хотя, разумеется, я мог учинить скан-

дал и в самом начале вечера.

Мне было плевать, в какой очередности читать.

Я вышел и пропел стих, который сочинил специально для этой okazji.

Не думаю, что это было гениальное стихотворение.

Скорее, это было нахальное стихотворение, в котором я посылая к чёртовой бабушке всё, что пришло мне в голову: тогдашнего канцлера Германии Гельмута Коля, тогдашнего президента России Бориса Ельцина, тогдашний мировой капитализм, все поэтические чтения на свете, конкретно это поэтическое чтение в Берлине, всех поэтов, которые в нём участвовали, всех слушателей, которые сидели в зале (а их там было предостаточно), все аудитории, залы и холлы, в которых проводятся такого рода мероприятия, и самого себя, стоявшего перед публикой и что-то такое бляевшего.

Короче, это было довольно оскорбительное и забавное стихотворение-оскорбление, стихотворение-ругательство, стихотворение-выпад, своего рода диатриба или филиппика.

Но главное, конечно, заключалось не в том, что я читал, а как.

А читал я так, будто делал это в первый и последний раз, а потом хоть потоп.

Я читал извиваясь, как морской гад, щупая свой член, как больной, и брызгая слюной, как лама в берлинском Zoo.

В результате моё чтение получилось заводным и вызыва-

ющим – в духе Катутла, Гелиогабала, Нерона и Марка Фурия Бибакула.

По лицу Рубинштейна, выступавшего после меня, было видно, что я произвёл-таки впечатление.

Публика сидела уकोкошенная моей наглостью.

Потом Пригов изображал милиционера и кричал кикиморой, явно соревнуясь со мной, но не дотягивая.

Остальные декламировали свои стихи как собаки, подвергшиеся павловской вивисекции.

Наконец вся эта бодяга кончилась.

Тут ко мне подошли два незнакомых немца и пригласили выпить с ними водки или пива – чего захочу.

Один из них был вроде гнома в ярких лохмотьях и с очень большой бородой.

Это оказался Пенк – известный художник-экспрессионист, звезда тогдашней немецкой живописи.

Он был в восторге от моего чтения и сказал, что никогда ещё не видел такого поэта, как я.

Второй немец громоздился рядом с Пенком словно викинг-колосс, обряженный в чёрную кожу и серебряную сбрую с ног до головы.

Он мне одобрительно подмигнул.

Это и был Папенфюз в своей обычной униформе: косухе, траурной футболке, кожаных штанах и высоких шнурованных башмаках.

Он имел много волос на голове и щеках.

Мы пошли в бар и выпили.

Потом Пенк попрощался; мы остались с Папенфюзом вдвоём.

Тут он мне и показал свой Восточный Берлин, то есть Пренцлауэр-Берг.

2. В те далёкие времена этот район, начисто проданный сегодня сытым скупщикам, был настоящей руиной – даже больше, чем Ленинград в 1989 году.

На домах красовались дыры от советских снарядов – следы майских боёв 1945-го.

В ходе той экскурсии Папенфюз нырял в какой-нибудь тёмный подъезд, я за ним, и мы приземлялись в очередном кнайпе, где торчали люди-вороны, люди-овцебыки, люди-блохи, люди-росомахи, люди-сороконожки, накачивавшиеся шнапсом и бехеровкой: сначала стопка шнапса, потом стопка бехеровки – и так до бесконечности.

А пиво там лилось Рейном-рекой.

Мы тоже глотали пиво и шнапс, пока я не окосел, а Папенфюз – нисколечко.

Он хорошо умел пить, а ещё он был завзятым курильщиком.

В его крупной, холёной руке, украшенной браслетами и кольцами, то и дело мелькала серебряная зажигалка, которой он орудовал с изяществом Эриха фон Штрогейма, на которого слегка походил.

Я смотрел на него во все глаза и постепенно влюблялся, как Марлен Дитрих в фельдмаршала Роммеля.

Его физиономия заставляла вспомнить Сократа, Тилля Уленшпигеля, какого-то пирата из книги Стивенсона, Же рара Депардье, мопса, Райнера Вернера Фассбиндера, немецкого чернорабочего времён Гёте и Гёльдерлина, Капитана Бифхарта, голливудского киноактёра тридцатых годов, бога Одина, декабриста Пестеля и Макса Штирнера.

Он был харизматичен, как Джон Уэйн.

В обкуренных кнайпах люди-псы, люди-шакалы и люди-попугаи все до единого знали Папенфюза и здоровались с ним уважительно, как будто он был не Бертом Папской Ногой, а Ричардом Львиное Сердце – королём дикарей-рыцарей.

3. Позднее я ближе познакомился с Папенфюзом и его компанией и сообразил: никакие они не дикари и не рыцари.

Они были угоревшими берлинскими левыми – из литературной тусовки, из художественной среды.

Левые – и на Востоке, и на Западе – давным-давно прогнили и скурвились.

Я якшался с марксистами и троцкистами в Питере: они словно белены объелись и дурию маялись.

Позднее я соблазнился культурными левыми в Вене – и совсем оскудел умом.

Бегите и от правых, и от левых, дети человеческие!

Бегите не вправо и не влево, а в даль – зигзагами!

Левые, как и правые, – стропила, столбы и колонны современного общества.

Они – трупы, по кладбищу Земли бродящие.

На погосте правых и левых должна вырасти новая трава, чтобы жизнь на планете снова проклюнулась.

И трава, слава богу, уже растёт – благодаря дождям, ветрам, семенам, мошкам, кошкам, птичкам, Спинозе, стрекозам, Вальтеру Беньямину, горам, долинам, Лермонтову, Аристофану, группе Gang of Four, Агамбену, тучам, солнцу, бабочкам, Тиккун, Роберту Вальзеру, фруктам, навозу, чаепитию, шишкам, землетрясениям...

Трава эта ни правая и ни левая: она неуправляемая.

4. Со времён моего первого приезда в Берлин годы пролетели, как комар над головой.

Столица Германии стала модной, жирной, блатной метрополией.

Все те тайные шалманы и погребки, которые Берт показал мне в первый раз, исчезли, словно их и не было.

Пренцлауэр-Берг превратился в резиденцию умиротворённых и обеспеченных.

Капитал всех перевоспитал и всё собой пропитал.

Но Берт Папенфюз почти не изменился, только заматерел, как племенной бык.

Попадая в Берлин, я обязательно навещал его в каком-ни-

будь новом его проекте – баре, кнайпе или кабаре.

Берт был неутомим в своей организаторской деятельности, в собирании вокруг себя левых стихокропателей и маргинальных издателей, тощих эссеистов и сытых каламбуристов, а также в курении, поглощении пива и бехеровки, в пропаганде творчества Франца Юнга, Квирина Кульмана и Эрнста Фурманна.

Rumballotte Continua стала его последним детищем.

Это было довольно-таки мрачное заведение, где собирались охотники до похорон и желчные нытики – депрессивные, враждебные, огрызающиеся личности, вздыхающие о Гуляй-поле и революционных экспроприациях.

Как всегда, Берт привечал всё русское, и в Румбалотте читали свои стихи Илья Китуп, Саша Гальпер, Бонифаций и Антон Лайко, играли на гитарах бард из Калининграда и скальд из Мурманска, мыши кота хоронили, бренчал на домбре Александр Токарев и выступал с лекцией Павел Арсеньев, которого я очень не люблю.

А Берт, стоя за стойкой, восхищался «Аэлитой» Алексея Толстого и ставил музыку Летова.

По просьбе Папенфюза мы с Барбарой расписали потолок Румбалотты голыми амазонками, за что нам была предоставлена бесплатная выпивка в течение месяца.

Но на самом деле Берт нас недолюбливал – считал непрогнозируемыми фалалеями.

Он был папиком, авторитетом и козырем, а мы однажды

в голом виде танцевали у него на стойке твист, показывали всем анусы и случайно разбили бутылку рома Havana Club.

Он на это нахохлился.

Однако самое страшное заключалось не в этом и даже не в том, что мы не разделяли его любви к Алексею Толстому и слыхом не слыхали о группе «Монгол Шуудан».

Самое страшное заключалось в том, что мы с Барбарой спёрли из Румбалотты главную папенфюзовскую реликвию – кожаную куртку Андреаса Баадера.

5. Она была сшита на манер пиджака – чёрная кожанка, сильно потёртая, с одной недостающей пуговицей.

Подкладка в ней совершенно замусолилась.

На левом рукаве было несколько прожжённых дыр – возможно, это Гудрун Энслин позабавилась.

Согласно легенде, куртка принадлежала когда-то Андреасу Баадеру – одному из лидеров RAF (Rote Armee Fraktion), подпольщику, городскому партизану и борцу с государством, погибшему в 1977 году в тюрьме Штаммхайм в Штутгарте.

После смерти Баадера куртка попала к берлинскому издателю анархистской литературы Бернду Крамеру, а от него – к Папенфюзу, поэту и организатору.

Сам Берт не слишком-то уважал RAF, считал их беспредельщиками.

Но многие завсегдатаи Румбаллоты относились к кожанке

как к музейной драгоценности.

Куртка красовалась на специальном стенде на стене бара – рядом с полками с бутылками.

Она висела как бы в распятом виде – с растопыренными рукавами, с обнажённой внутренностью.

Взгромоздясь на высокий стул, я впивался взглядом в эту баснословную куртку и уже не мог от неё оторваться: мне страшно хотелось её.

Я почему-то решил, что если надену кожанку Баадера, то буду счастлив до окончания дней и спасусь ото всех напастей.

6. И что же?

Как сказал Йоханнес Баадер: «HURRA!!!»

Мы с Барбарой действительно украли куртку Андреаса Баадера, а вместо неё повесили на крючок другую чёрную кожанку, купленную нами за гроши в магазине поношенной одежды в Кройцберге.

Кража произошла утром, когда мы расписывали потолок Rumballote Continua, а Папенфюз вышел на улицу с кем-то потолковать.

Вообще-то он не хотел оставлять нас без присмотра ни на миг, но всё-таки оставил на пять минут, а когда вернулся, не заметил подмену на стене.

Помню, он предложил нам по стопке бехеровки.

Мы выпили, хотя терпеть не могли эту дрянь.

Через полчаса мы закончили нашу фреску и смылись из жизни Берта навсегда.

Стоя на Торштрассе, я натянул чудесную кожанку: она пришлась совершенно впору, только чуть-чуть жала в плечах.

Ветхая, потёртая, заскорузлая вещь, с трудом застегнувшаяся на непослушные пуговицы...

Я стоял посреди улицы со счастливой улыбкой, как когда-то в детстве, когда родители принесли домой новогоднюю ёлку и всё вокруг запахло хвоей до одури.

7. Куртка Баадера оправдала мои ожидания.

Я верил, что она меня спасёт, и она спасла.

Сразу после её похищения я был счастлив, как никогда.

И потом, и потом...

И сейчас, вспоминая и записывая эти слова, я тоже счастливо счастлив, словно дурачок.

Большинство людей живёт по двоичной системе: удача – неудача, прав – виноват.

А я – с тех пор как заполучил кожанку Баадера – больше так не живу.

Я просто беспричинно счастлив, пока что-нибудь не заболит.

8. Есть только одна маленькая нестыковочка: ворованная куртка уже не налезает на меня.

И это не потому, что я стал больше, а потому что она стала меньше, увы.

Возможно, я слишком часто надевал её в дождь?

Или она ужалась от времени, от безвозвратного течения лет?

Сперва кожанка была в самый раз, потом сделалась тесновата, потом скукожилась так, что я не мог в неё влезть.

Тогда я отдал её Барбаре – она пришла в восторг.

И носила куртку много счастливых лет.

Я на неё любовался и трогал, гладил, ласкал...

Но вот миновало последнее лето – мы извлекли кожанку из рюкзака.

Глядим, а она сжалась в комок, в лоскуток!

Совсем как шагреневая кожа, о которой писал Бальзак...

# Что осталось от Тимура Зульфикарова

*Раньше я любил солнце, умел пользоваться  
теплом.*

*Леон Богданов*

1. Вчера я вспомнил, как когда-то (в 1982-м или 1983 году) посетил в Москве Тимура Зульфикарова.

Это такой поэт и писатель, которым я восхищался.

Он написал сценарий фильма «Чёрная курица, или Подземные жители» по сказке Погорельского.

А ещё он писал поэмы о Ходже Насреддине и великом завоевателе Тимуре.

Я читал его сочинения в журнале «Дружба народов» и приходил в восторг от его ритмизованной прозы, от его способности упиваться певучей фразой, от его умения смаковать слово.

А потом мне вздумалось самому стать кинорежиссёром, и я сочинил собственный сценарий.

Его действие происходило на озере Иссык-Куль во времена эмира Тимура.

2. В сценарии рассказывалось, как Тимур побывал на берегах Иссык-Куля.

Он пришёл туда со своим войском, которое расквартировалось на лето.

Тимур любил бродить по берегу озера без охраны.

Однажды во время прогулки он встретил дикую девушку по имени Айнура и стал смиренным учеником этой дикарки.

В те далёкие времена просторы вокруг озера были пустынные, однако кое-где уже росли великолепные пирамидальные тополя и чудесная облепиха – совсем как в наше время.

Айнура жила в глинобитной хижине, которую слепила своими руками.

Она заплетала крошечные косички на своём лобке и шлёпала себя по бёдрам.

Она всё время смеялась маленьким дробным смехом.

Когда Айнура увидела Тимура, она сказала:

– У тебя красивый кадык, дай я его поцелую.

И, не дождавшись ответа Тимура, поцеловала.

Эмир Тимур и босячка Айнура сношались на озёрном песке, как два подростка.

Айнура – дева с острыми сосками и рёбрами, выступающими наружу.

Свои чресла она умащала жиром жёлтого суслика.

Она научила Тимура совокупляться со всем живущим: с ослом и пчелой, с хомячком и удодом, с джейраном и тушканчиком, с серым вараном и черепахой.

Как говорят французы: HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE –

позор тому, кто дурно об этом подумает.

Когда они дрючились летним сияющим утром, над ними в небе висел серп месяца, как крошечная тающая льдинка.

А потом войско Тимура собралось в поход, и он ускакал – без Айнуры.

Она осталась одна – с озером Иссык-Куль, со степными тушканчиками, с майскими жуками, с шустрыми ящерицами и стремительными стрекозами – и ей не было одиноко.

Тополиные листья уже начинали желтеть: наступала осень.

3. Я пришёл с этим сценарием к поэту Зульфикарову на территорию Мосфильма, где у него была квартира.

Я хотел, чтобы он прочитал мой сценарий и сказал, есть ли шанс его поставить.

Помню, день был чудесный, с густой синевой над домами. Прозрачные облака, похожие на паутину, рассекали московское небо.

Дом, в котором жил Зульфикаров, стоял в густейшей траве, а вокруг – сады, овражки, пригорки.

Так, во всяком случае, я помню.

Я поднялся на верхний этаж и в волнении перевёл дыхание.

Я нажал на кнопку звонка, ожидая какого-то чуда.

4. Он встретил меня в восточном халате и шароварах.

На стене висела икона с житием святого.

Квартира была светла и просторна.

Зульфикаров оказался статным мужчиной с широкой грудью.

У него была чёрная чёлка над сияющими глазами.

Он показался мне очень красивым, юным и страшно ве­сёлым.

На паркете лежал ковёр – тоже очень красивый.

Вся комната излучала свет, как инсталляция Джеймса Таррелла.

Тимур Зульфикаров приветливо улыбался.

Он спросил меня, кто я и откуда.

Он сказал, что мы с ним земляки: он из Душанбе, я – ал­маатинец.

Он сказал, что пишет сейчас поэму об Омаре Хайяме.

Мы пили чай из ярких пиал – душистый горячий напиток.

Он попросил меня оставить сценарий и позвонить через неделю.

На прощанье он крепко пожал мою руку.

5. Прошла неделя.

Перед звонком Тимуру я сильно волновался.

Он сказал в трубку, что сценарий очень хороший.

Сказал, что из сценария могла бы выйти чудесная кино­картина.

Но в Советском Союзе такой сценарий невозможно поста-

вить.

Я был счастлив и так: меня похвалил Тимур Зульфикаров!  
Я был счастлив, как никогда в жизни!

Он сказал, что будет следить за моим поэтическим развитием.

Он пожелал мне удачи.

С тех пор я его ни разу не видел.

Не знаю, следил ли он за моим развитием, но я за его развитием не следил и о нём не думал.

А вчера вдруг вспомнил.

6. Стал искать Тимура Зульфикарова в интернете.

Нашёл его официальный сайт – там много чего было.

Наткнулся на такую характеристику поэта: «Тимур Зульфикаров – великий русский поэт и писатель, создавший новый экстатический стиль в Мировой Литературе – стиль, соединяющий русский вселенский космизм и тысячелетнюю мудрость Востока, огненное мессианское Православие, великую Арийскую Традицию, зороастрийское всежигающее духовидение и неистовость ярого, несгибаемого ислама. Дар Зульфикарова бесценен, он – поэт от пророков, которые когда-то были пастухами».

«Ого!» – подумал я и смутился.

Стал смотреть дальше и вижу: на сайте опубликовано письмо Зульфикарова под заголовком «Враги Путина – враги Отечества!».

Хотел прочитать, а потом раздумал.

Решил просто записать своё воспоминание о Тимуре.

С тех далёких пор со мной много чего случилось – и с ним, несомненно, тоже.

Время проходит и уносит с собой дела и надежды.

Но щенячье счастье, которое я испытал от встречи с Тимуром, осталось.

7. Вот что пишет Гай Юлий Солин в своём сочинении «О достойном памяти»:

«Что касается счастья, то до сих пор не нашлось человека, которого по праву можно было бы назвать счастливым, ведь и Корнелий Сулла скорее назывался счастливым, чем вправду был им. Оракул указал на одного лишь Аглая как на определённо счастливого человека. Этот Аглай оказался владельцем бедного поместья в скудном уголке Аркадии, где он проживал, никогда не покидая отчих пределов».

# Созерцание Нанси

*Момент, когда персонажи молчат, а яблони  
цветут, вечен.*

*Леон Богданов*

1. У петербургского художника Андрея Хлобыстина была французская жена по имени Изабель – красивая, импульсивная девушка.

Уж не помню, как я с ней познакомился.

Изабель жила в Страсбурге и, кажется, училась на факультете славистики и одновременно на философии.

Она хорошо владела русским языком.

Страсбург мне понравился своим парком, где стояли гигантские дубы и росла нежная, взлохмаченная травка.

Изабель пригласила меня сделать там выставку – в городской галерее, с которой она сотрудничала.

Вместо выставки я устроил балаган.

Двое моих приятелей – итальянские художники – приехали из Милана в Страсбург, чтобы вместе со мной попаясничать.

Один из художников был альпинистом-любителем.

Другой играл на народном инструменте типа домбры.

Мы вбили в стену галереи альпинистские зацепы, встали на них и привязали друг друга альпинистскими верёвками.

Три фигляра, висящие на стене, – три дергунчика.

Когда галерея заполнилась публикой в день открытия, итальянец с домброй стал наигрывать народные мелодии.

Играл он, кстати, замечательно.

В разнорной мы запели что-то несурзное.

Публика глазела на нас, подвешенных, а мы кудахтали, квакали, квохтали, щebetали, ухаи и балаболили.

Ну и дёргались, опутанные верёвками.

А потом вдруг заорали, завопили, заревели, как оглашенные.

Орали мы, кстати, замечательно.

Публика пялилась, посмеивалась.

Представление закончилось.

Изабель повела нас в какой-то погребок, и мы напильсь до одури.

Однако Изабель хотела чего-то ещё.

– Мой профессор в университете – Жан-Люк Нанси, – сказала она. – Хочешь с ним познакомиться?

Меня тошнило от выпитого, но имя Нанси пробудило во мне восторженность.

– Философ Нанси?! – вскричал я.

– Ну да.

– Конечно, хочу с ним встретиться.

– Тогда я договарюсь.

На следующий день итальянцы уехали, а я с больной головой гулял по Страсбургу, купил багет в булочной и смот-

рел на громадную синагогу, на кафедральный собор и другие старинные здания.

Потом я сел в парке на траву и стал выскребать из багета мякиш – совсем как детстве, в тот незабываемый день в Алма-Ате.

2. Помню как сейчас: родители послали меня за хлебом.

Я купил свежий, ещё тёплый батон и, держа его в руке, направился домой.

Но вдруг увидел во дворе играющих в асыки мальчиков.

Асык – это такая изящная баранья косточка-мосол, похожая на крошечный танк без башенки.

Игра в асыки заключается в выбивании мослов с кона.

Самый ценный асык – тот, которым выбивают – называется «сака» или «сочка».

Его заливают свинцом для тяжести и раскрашивают в красный, зелёный или синий цвет.

Сам я плохо играл в асыки, зато обожал глядеть на чужую игру.

В тот день я присел на корточки и впился глазами в бесподобное зрелище: умелые мальчики знали толк в асыках.

Я смотрел, позабыв всё, и машинально поглощал батон, причём ел его только изнутри, а корку оставлял нетронутой.

В результате батон всё больше походил на пещеру – пока я его полностью не опустошил.

Осталась поджаренная хлебная кожа, а вся мякоть исчезла

в моём животе.

С опозданием на несколько часов и жалким остатком хлеба я вернулся домой, где меня ждали разгневанные родители.

– Где ты был?! Что сделал с хлебом?!

– Предавался созерцанию без сознания, – ответил бы я сейчас, а тогда только побледнел.

3. В условленное время я пришёл в галерею на встречу с Жан-Люком Нанси.

Изабель меня предупредила: философ пережил недавно тяжёлую сердечную операцию.

Теперь у него в груди билось сердце какого-то умершего человека, так как его собственное сердце не хотело функционировать.

Поэтому с Нанси нужно обращаться бережно, сказала Изабель, как будто я мог наброситься на него или сотворить что-нибудь дикое.

Я заверил её, что буду вести себя вежливо, поскольку я по природе вежливый.

Мы ждали его в кафетерии, и я волновался, нервничал.

Ведь это был сам Жан-Люк Нанси!..

И вот он появился, а с ним кто-то сопровождающий.

Философ улыбнулся, пожал мне руку и сел.

Одет он был как настоящий французский интеллектуал – в коричневые вельветовые штаны и бордовый свитер, а на

шее шарф.

Он был коренаст и ладно сложен, с уверенными мужественными движениями.

Он заказал ромашковый настой, а его друг – чашку кофе. Лицо у философа было умное и благородное, с твёрдым подбородком и высоким лбом.

Но я бы соврал, если бы сказал, что смотрел на его лицо. Подлинное восприятие Нанси оказалось в моём случае совершенно иным: я увидел человека-Хоккайдо, человека-Сардинию, человека-Луну, человека-манго, человека-черепаховый-панцирь, человека-звезду.

Как бы это объяснить?

Возможно, всё произошло из-за моего смущения и оторопи.

Возможно, авторитет Нанси так на меня подействовал.

Возможно, дело было в его ауре.

В любом случае: я смотрел на него и видел кита, реку, степь.

Поэтому я уже не мог произнести ни слова и не слышал, что говорилось вокруг.

Изабель обращалась ко мне по-русски, но я её не понимал.

Вообще, она пыталась играть роль переводчицы: Нанси не говорил по-русски, а я по-французски знал два десятка слов.

Перейти на английский никому не пришло в голову.

Но мне язык вообще не понадобился – никакой, начиная с того, что был у меня во рту.

Я его, что называется, проглотил.

Возникло то же самое, что в Алма-Ате, когда я, десятилетний, наблюдал чужую игру в асыки: максимум фиксации – и никакой коммуникации.

Общение осуществлялось на ином уровне: так ранней весной идёшь по глубокому мокрому снегу и ощущаешь его всем существом.

Это как гравий, на который наступаешь босой ногой.

Думаю, моё немое созерцание философа было невежливо.

Наверное, я показался Нанси убогим и невменяемым.

А может, и нет, может, ничего подобного.

Может, он понял, что я смотрю на него как впервые продравший глаза и узревший: ручка ножа, кожа слона, ноготь старухи, волос дворняги, белый плевок на чёрном асфальте, солнечный блик в окне...

Вероятно, я смотрел на него как зверь: видел мир, в котором всё сопрягается и размывается, как в каком-то предсмертном зрении: пылинки в воздухе, запах цветка на больничной тумбочке, пейзаж Брейгеля, увиденный когда-то в музее, вишнёвая косточка, положенная под язык, ртуть, высыпавшаяся на паркет из термометра, пластмассовый теннисный шарик с вмятиной...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.